

Татьяна ЧУРУС

г. Москва

УЧИТЕЛЬДЬНИЦА ЧУХАРЁВА

Учительница Чухарёва тихохонько стукнула в ставень скукоженным кулачком: стук-постук. Ставень тяжёлый, большущий — а подался-то как легко, словно утлая лодочка, — и сейчас что-то колючее полезло в личико испуганной учительницы, задышало. В глазёнках её поплыло...

— Кого там чёрт несёт? — закричала всклокоченная чёрная бородача. — Ах, это вы, Катерина Егоровна... Ну что же вы, матушка, ну право же, ну дверь-то на что? — чёрный масляный глаз виновато глядел на Катерину из-под мохнатой бровищи.

Чухарёва едва и очухалась:

— Так там...

— Что ещё такое?... — мохнатая бровища поползла вверх.

— Яков Яковлич! Стойте!!! — Куда там... Катерина только и ахнула, только ручонками и взмахнула: Яков Яковлевич, весь мокруший, стоял в дверном проеме. На полу криво извивался ушат...

— Ну я тебе!

Из-за угла послышался звонкий мальчиший смешок — и босые пятки засверкали так, что будь здоровёшенек!

Яков Яковлевич на ходу стянул ремень с видавших виды порток — и за негодником... Да пыль только и поднял... Э-эх, стар стал, силушка не та... Вот годков эдак пяток... ну, десяток скинуть бы — и одному Богу только и ведомо, кто кого обставил бы в догонялки...

— И в кого растёт... — А с самого течёт — страсть! Да о приступочек еще запнулся! — А ты что рот раззявила? Самовар ставь! Да варенье носи малинное!

— А я к вам в няньки не нанималась, меж прочим. Я, меж прочим, медсестрой представлена! — Толстая брюхатая девка возлегла на подоконник что тебе подушка, — хоть выбивай, — и лузгает семки, аж свист стоит! — А то взяли привычку: подай да поднеси!

— Цыц, говорю! — и Яков Яковлевич пригрозил кулачищем «подушке». Та только хмыкнула да сплюнула шелуху с конопатых губищ.

— Подумаешь, экая важность, — и захлопнула ставень.

рассказ

— Никакого порядку не стало... — Яков Яковлевич виновато развёл руками. — Сам-то я вдовый... Вот как Катя-то померла... — Он приоткрыл, прикусил губу... — Покойницу мою тоже Катериной величали... Надо же... Да вы проходите, Катерина Егоровна, что же это вы...

Учительница мельком глянула вверх: один Бог только и ведаёт мальчишку Якова Яковлевича Андрейку, и что он там ещё удумал, такой неслушник! — и осторожно перешагнула своими махонькими ножонками через большущую лывину...

— Давайте подотру?

Яков Яковлевич замахал на учительшу руками:

— Чай, чай, горячий чай! — и гаркнул зычно: — Марфа! Да где ты там? Кому говорят, ставь чай! Я тебе!..

— И не подумаю... — и Марфа пошаркала куда подальше, только её и видела.

— Совсем распустилась! — и громко — это чтобы Марфа слышала: — Совсем распустилась, бесстыдница! Брюхатая ходит!

Марфа ни слова ни полслова: что аршин проглотила!

— И не сказывает, кто обрюхатил! Людям известно на глаза показаться!

Марфа хлопнула дверью. Учительница стыдливо опустила глазёнки.

— Ой, да вы проходите, Катерина Егоровна, проходите. Сейчас чайку попьём, с вареньцем... Я вот только... — и Яков Яковлевич юркнул в соседнюю дверь.

— Да вы не стесняйтесь, накладывайте вдоволь. Я страсть как люблю малинное варенье: это еще покойница варивала. — Яков Яковлевич кинулся наливать Катерине чаю в большущую чашку — да и вляпался рукавом в самое что ни на есть красное варево... — Да что ж эт' такое-то сегодня, а...

Он закатал рукава свежей холщовой рубахи, которую надел к столу. Бородища его была приглажена, длинные космы с проседью зачесаны наверх. Наконец он уселся спокойненько, хлебнул чаю из блюдца, вздохнул, выдохнул, а уж после по-хозяйски запустил ложку в банку с вареньем, жадно облизнулся, гля-

нул на Катерину, оправил бороду. Та сидела красная, вот что то варенье...

В дверь стукнули.

— Явился. Ну гляди у меня! — Яков Яковлевич взял в руки большущий ремень.

— Здрассьте, а Андрейка дома?

— Андрейка-то? А то ты не знаешь! Неслушники этикие! Никакого с вами сладу... А увидишь, скажи ему...

— Тикай, пацаны!

Яков Яковлевич только и присвистнул.

— И в кого растёт... Он как, Катерина Егоровна, больно пакостит на уроках-то?

Чухарёва покачала головой.

— А то вдовый я... Сами понимаете...

— Пойду я, Яков Яковлич! Поздно уже...

— Да обождите. Мы же с вами ещё ничегошеньки не сделали... — Яков Яковлевич тихонько придержал за плечико учительницу, вставшую было из-за стола. — И эта вода проклятушная... И Марфа совсем от рук отбилась. Как человека взял её, выучил... Она дочка сестры жены моей покойницы, племяшка моя, значит. Выучил на свою-то голову... — Яков Яковлевич сокрушался. — Уж больно мать её, Вера Тимофе'вна — это сестра моей жены... Ах, да я сказывал... Уж больно просила... Возьми, мол, Яша. А я что — я взял... И вот на тебе... Вере-то я Тимофе'вне и рта раскрыть боюсь, что брюхатая... А ей хоть бы хны: семки жрёт — и завей горе верёвочкой... Я ей: Марфа, а Марфа? — а она, бесстыдница, поглядит на меня своим заплывшим глазком (и то, отбелась, как у меня жить-то стала!) — и пошла лузгать далее. И работу совсем не знает: всё сам, всё сам — никакой помощи...

Чухарёвой так стало жаль Якова Яковлевича, так жаль: такой неприкаянный сидел он перед ней, такой бесприютный!

— Всё образуется... — только и вымолвила она.

— Да? Вы думаете?

— А то как же... Такой человек...

Яков Яковлевич махнул рукой.

— Да какой я человек... Мальчишка неслушником растёт... Отца ни во что не ставит...

— Да что вы? Это как не ставит! Ещё как ставит! Да он...

В комнату вплыла толстая Марфа.

— А, чаек попиваете? Ну-ну... — и она тяжело плюхнулась всеми своими телесами на стул рядом с Яковом Яковлевичем. И как только стол не повалила — аж ходуном пошёл! Яков Яковлевич сейчас кинулся наливать ей чаю.

— Ты, Марфуша, пей-ешь на здоровьечко, ты не серчай на меня!

А Марфуша и не серчает, чего ей серчать-то: знай уплетает плюшку за плюшкой — и не перхнётся. Да каждую плюшку — а она, Марфато, умяла их цельную дюжину, если не более, — ещё и малинным вареньцем сдабривает. А плюшки знатные: то соседка пекла, Анна Минаевна, ох и славная душа. (А мальчишка Якова Яковлевича — и в кого растёт! — что удумал-то: Анна Сминаевна её прозвал — вот ить нелёгкая его возьми!) Почитала она, эта Анна-то самая Минаевна, которая плюшки пекла, — а и не одни плюшки: там и олады, и блины, и куличики пасхальные, и маковки, и язычки слоёные, так сами в роток и просятся, — почитала она Якова Яковлевича, не то что эта злыдня Марфушка: дяденька её как человека взял, выучил, а она нате, экий подарочек ему поднесла в подоле! Правда, злые языки поговаривали, что прилаживалась она к Якову-то Яковлевичу, это как Катерина-то его померла, покойница! А и что не приладиться-то: дом свой, жалованье, опять же, человек учёный, не какой потаскун или пропойца, хоть и к спирту приставлен!

— А Андрейка придёт, так ты скажи ему: мол, папаша не задаст ему... Так и скажи... Да покорми его как следует: весь день чёрт его носит...

— Вот ещё... Сами и говорите. Я что, нанялась, что ли?... — и плюшку — в рот да вареньцем и сдабривает!

— Пойду я, Яков Яковлич, спасибо вам за чай, за...

— Да куда вы не пойдёте, Катерина Егоровна, вот ещё, удумала! Доведу я вас, какая вы пугливая! И пальцем никто не тронет!

Марфуша прыснула со смеху. Дядя снова пригрозил ей кулачищем: мол, цыц! А той и не страшно вовсе! Рот утёрла, плюшку в карман сунула — и поминай как звали: ни спасибо, ни пожалуйста! Вот она, благодарность-то! Как

человека её взял, выучил... а она... только и знают, что брюхатеть, бесстыжие...

Яков Яковлевич смел крошечки со стола, закинул их в роток — так одна крошечка и застряла в бородище, точно бельмо на глазу торчит: так бы и ткнула — да страшно Катерине было сказать про то самому-то, Якову-то Яковлевичу.

— Ну, пойдёмте, покажете, что там у вас...

— Да неловко мне, Яков Яковлич...

— Ну, показывайте! — Яков Яковлевич облачился в белый халат, водрузил на нос большущие очки в роговой оправе.

Учительница Чухарёва расстегнула кофточку, зажмурилась... Колючая бородища защекотала её гусиную кожицу... с пупырышками...

— Ай...

— Да я только послушаю, что же вы, экая вы недотрожистая!

Металлический кругляш страсть какой холодный — а он тычет им куда ни попадя!

— Дышите... не дышите... дышите...

Катерина подсматривала одним глазком за Яковом Яковлевичем.

— А это можно снять? — Он коснулся пальцем розового кружавчатого лифчика: новенький, аж похрустывает!

Катерина беспомощно замотала головёнкой, а сама и не шелохнётся...

— Да я тихохонько! — и задышал своей бородищей в Катеринину грудь... — Господи, да что это... Вот ведь как опасно лечить Катерину Егоровну... Опасно, говорю, вас лечить, Катерина Егоровна... — А у самого руки дрожат, горло срывается...

Учительница Чухарёва приоткрыла глазок — бородища зашевелилась, кадык ходуном ходит — и всё закачалось, поплыло перед нею, а она сама, гляди-ка, махонькая, в люльке...

— Баю-бай, баю-бай, к нам приехал Бабай! К нам приехал Бабай — просит: Катеньку отдай! Мы Катюшку не дадим — пригодится нам самим! — И матушка, подоткнув одеялко под мягкий бочок, — это чтобы дочурке было тёпленько спатеньки! — поплыла себе лебёдушкой восвосяи.

— Спой ещё!

— Спи! — и приложила пальчик к пухлым губам.

— Ну спой, ну пожалуйста! — и матушка, уступив уговорам махонькой Катюшки, пела и про отца-пахаря, и про злых турок — и про что только не пела, покуда малышка не проваливалась в глубь сна. А после она еще долго так сидела у люльки, покачивала её тихохонько: туда-сюда, туда-сюда — и пела, пела... Отец подойдёт — слушает-слушает, да всё не наслушается: до того ладно спевает его Надёжа, до того справно...

— Еголша... — сквозь сон лопотала махонькая Катюшка — и роток её расползался что гармошка, и слюнка вытекала на белоснежную подушку, вот блеее самого белого: уж матушка её была такая чистотка, такая чистотка — там всё блестяло — какая чистотка!

А Егоршею матушка называла отца Катюшки: Егорша ты мой, бывало, всё приговаривала! — и та туда же, это Катюшка-то: Еголша ты мой, мол, — совсем как взрослая!

— Спи, Катюшка, спи! — И он брал за плечи свою Надёжу и уводил её в темноту: завтра в шесть часов вставать!

А той ночью... а и ночь как ночь — да уж что-то шибко долго не могла заснуть махонькая Катюшка — и как ни звала она матушку, не шла она, не спевала песен сладостных...

— Спи, Катюшка, спи, бедовая ты головушка! — И тётушка Шура, это отцова сестрица: там справная, там белая, пуховая, с большущими губищами, которые Катюшке так и хотелось надкусить, до того сочные да красные, вот что спелые яблочки! — Спи... — И пошла причитывать, пошла кукситься, точно сама была махонькой Катюшкой.

— Тётушка Шула, да где матушка-то? И Еголша куда-то заплотал совсем...

Ох, они, негодники такие, оставили махонькую Катюшку, а сами небось ушли веселиться да шанежки кушать мяконькие! Уж больно она, Катюшка-то, была до шанежек охотница!

— Спи, Катюшка, спи... — и утирала сдобное личико уголком чёрного платка. — Запропал совсем Егорша наш, сгинул, голубь ясный... — и пошла рыдать в три ручьи, да губищами своими пришлёпывать яблочными!

— А ну щыц, Шурка! Нечего глотку драть! — Это бабушка Лукерья Ивановна, не то тётка, не то сватья — один чёрт её разберёт — по отцовой, значит, линии. — Ступай замес вон ставь! Люди придут — на столе шиш! И нечего девчонку бузыкать!

И она обтерла белую от муки ручищу о чёрный передник, погрозила махонькой Катюшке: — А ты спи! И язычино прикуси!

Катюшка прикусила язычок — бо-о-ольно! А после выдохнула — а обратно вдохнуть и пугается... А за дверью какие-то чёрные тени бесшумно движутся да словно что постукивает: стук-постук, стук-постук...

А утром глазёнки продрала — матушка... вся в чёрном, лица на ней нет... Сидит тихохонько, что неживая какая, и не шелохнётся...

— Матушка! — и Катюшка со всех сил кинулась к матери!

А та сидит... холодная, вот что мраморная... У Катюшки такая куклица — Егорша подарил: баловал он её, ох и баловал! — вот что та куклица и сидит...

— Матушка!!!

А та выдохнула — и одна слезинка, вот одна-единёшенька! — выкатилась из её мраморного глазка и застыла на полпути... да и переливается себе, точно жемчужинка... И не узнает Катюшка свою матушку, будто та подменная, вот как в сказках сказывают: ей сама матушка такую сказку и читывала...

— Тётушка Шула, тётушка Шула!

А та вошла — и прикрывает роток свой спелый чёрным платком, и только глаза текут зелёным каким зелием...

— Пойдём, Надёжа, пойдём! А я ищу тебя повсюду: где Надёжа, где Надёжа? Нет её нигде... а ты тут...

— Шура... — только и выдохнула мать. — Скажи Катерине... не могу я... язык не поворачивается...

И ушла бесшумно, даже не обернулась на дочь...

Катюшка тихохонько, это чтобы матушка с тётушкой не заметили, повертела языком во рту: туда-сюда, туда-сюда... И что это матушка такое удумала? Ещё как поворачивается!

— Скажу, всё скажу...

И сказала как отрезала:

— Нет больше Егорши твоего, Катяшка, помер он...

А Катяшка глазёнки выпучила... Сидит смотрит... Язычком во рту поверчивает тихохонько, а потом будто прирос язык к гортани... Не вертится... Она открыла было роток... да вмиг и захлопнула, что дверь от сквозняка... Помер-помер-померпо-мерпо...

— Ты теперь взрослая, Катяш... — Тётка замолкла... прикрыла рот платком... — Катя... — Хотела ещё что-то сказать, потом вздохнула по-бабьи, утерла лицо. — Эх, горе горькое!.. — И вышла, причитывая в голос... — Да на кого ты нас покинул, голубь ты сизый! Да как же мы без тебя туточко-о-о...

Помин справили, как у людей, — всё, как и положено: не пожалели денежек. Там понаготовили — стол трещал: и блины тебе, и кутьица, и холодец, и селёdochка малосольная, и огурчики — ешь не хочу, всё, как Егорша любил! А только и где он теперь, Егорша-то? И на что ему разносолы те?..

А миру-то понаехало — тьма: там дядья-тётки, там сваты-сваты, двоюродные-троюродные — и чёрт знает какого колена, — все прибыли! И уж такой хороший да пригожий был Егор Николаевич, и уж до того работающий: там всё в руках горело, что ни возьмёт, — и уж не пил, не курил, и на гармонии-то играл, да так, что душа вон, а уж как жену-дочь любил... А только на что ему теперь там словеса те, будь они хоть из самого чистого золота?..

Вот сидят: выпивают, закусывают, разговоры разговаривают... одна мать как ни при чем, как чужая будто... Посиживает себе на краешке — ни к питью, ни к еде не прикасается, ни в разговор не вступает... Да какой-то дядька чёрный — там бородача, там глаз! — всё к ней прилаживается: Надежда, мол, Михал'на, хозяйюшка, вы, мол, можете на меня завсегда положиться, я, мол, такой-сякой! — а сам жрёт-пьёт за двоих! А Катя видит: ручища его волосатая ползёт по матерной спине — а той всё одно: сидит — не шевелится...

Поперву-т Катя всё ждала мать по ночам, всё не могла заснуть без песен её.

— И что ты не поешь больше, мама?

А та:

— Да разве пела я? Все-то ты выдумываешь.

— И уходила в темень: в шесть часов вставать...

А может, и правда, удумала? И Катя выпучивала свои глазёнки... и слышала голос ласковый... и фигуру отца в дверном проёме видела... но про то ни одна душа знать не должна...

Вот раз приболела она, Катя-то, и чудится ей, что льётся песня тихая такая, нежная... Она замерла: не спугнуть бы... Спугнула... или почудилось? Она встала, на одних цыпочках пробралась в комнату матери...

— Что такое? — Чёрная всклокоченная бородача закричала в самое лицо девочке.

Катя от страха закрыла глаза рукой.

— Почему дверь не на запоре? — И чёрный дядька вскочил, точно его ошпарили кипятком, натянул штаны на сухие волосатые ноги в носках.

И Катя увидела мать: она лежала на скомканной постели, вся расхристанная... слово какое чудное, и где Катя его слышала! — и даже не пошевелилась, заметив дочь... а может, и не заметила...

— Стыд прикрой! — И чёрный дядька швырнул матери в лицо какую-то белую тряпку...

Зиму Катя прожила у тёти Шуры.

— Так лучше будет, — сказала мать, собирая Катяны вещи в маленький рыжий чемоданчик.

Кому лучше? Катя смотрела на её безучастное лицо, на быстрые руки, которые ловко делали свое дело: раз-два, раз-два...

— Спроведили девчонку, — слышала Катя по ночам голоса тёти Шуры и дяди Володи — то муж её, пьяные его глаза.

— Да что ты говоришь-то? Ей судьбу устраивать надо — а ты? Кто её с дитём-то возьмёт? А Егор... — тётя Шура осеклась будто. — А Егор Семёныч...

Дальше Катя не расслышала. Младшая дочка тёти Шуры и дяди Володи — а всего девченок у Лялиных было аж пять: «Понарожали, — бурчала себе под нос бабушка Лукерья Ивановна, — только и знает, что в подоле приносить!» — так вот Люська, меньшуха, громко засопела — да как саданёт Катю со сна ногой. Та

только и заплакала от боли... И за что ей все это? И когда всё это кончится...

— А ну спи! Я мамке скажу! — и Варька — это та, что постарше, — показала Кате маленький кулачок.

— А я и сплю... — проскулила Катя.

— Вот и спи. И попробуй только маленькую разбудить!

Катя боялась и поворотиться на большущей кровати, где спали девчонки Лялины. А те поспыхивали себе: «Нажрут на ночь — и попёрдывают, — знай свое твердила бабушка Лукерья Ивановна, — так брюхатая и ходит!» Катя еле слышно хохотнула. И быстро обернулась на Варьку: не слышит ли? Она боялась её как огня: та даст — только кровью и умоешься... спит... слава богу...

— ...корми тут всех!

— Ну что ты, Володя, он ить денег дал на девчонку, сам-то, Чухарёв-то. И деньги-то различные... — Тетя Шура снова осеклась.

— Да делайте вы что хотите... Житья никакого от вас... Надоели как собаки...

Чухарёв... Имя чудное... И кто это Чухарёв? Ах, да это тот самый чёрный дядька... Катя скукожилась: мать, вся расхристанная, — и страшная бородища елозит по её груди...

Катю записали в первый класс как Чухарёву... Девчонки Лялины показывали на неё пальцем и кричали: Чухарёва, Чухарёва... И Кате казалось, что страшнее прозвища нет...

— Лихо они окрутились-то! — скалила зубы бабушка Лукерья Ивановна: её не позвали на свадьбу — как же, не нужна стала старая, от ворот-поворот, да больно надобно-то, тьфу!

А и свадьбы никакой не было — так, собрались, посидели: все чин-чином, всё как у людей...

— Не успел Егорша остыть в земле — она ноги свои раздвинула, шалава! Тьфу! — И бабушка сплюнула и погрозила невесть кому! — А этот, Чухарь-то, чёрт бы его брал: да ты, баушка, не волнуйся! Да какая я тебе баушка, тоже мне, внучок выискался: сто лет в обед!

С ними стала жить Раиска, Чухарёва дочь, толстомытая девица, старше Кати годков на семь (а с лица — так и в матери годилась: Катя-то махонькая, беленькая, ну что тебе пушинка

небесная — и в чём только душа держится!). По утрам Катя уходила в школу, мать с Чухарёвым на работу. («Ты почему не называешь Егора Семёныча папой, а? Я кого спрашиваю? Уж он ли не старается для тебя, а? Ты что, разута-раздета? У тебя что, игрушек нет? Неблагодарная!» — говорила глухим голосом мать и всё кашляла, кашляла.) Раиска училась в техникуме... А вечерами Чухарёвы молча садились за стол...

— А ну, врешь, куда тянешь? — И Чухарёв замахнулся на Катю: та стащила с тарелки большой кусок колбасы («колбаски», как говаривал сам Чухарёв) и испуганно вытаращила свои глазёнки... на чёрного дядьку. — Прежде должен взять отец, потом мать, потом старшая сестра — и только потом уже ты, что останется. Уяснила?

Катя тряхнула головой. Раиска хихикнула: она получала стипендию в техникуме.

— Ты не знаешь, как достаются деньги. Ты трутень, от тебя толку чуть. Ты не работала ни дня, ты...

Катя молча встала и вышла из-за стола. Мать что-то глухо прокашляла...

— Жрать захочет — придёт. Невелика птаха. — И Чухарёв принялся за колбаску.

— Тётенька, милая, возьмите меня к себе, а? Я полы мыть буду, окна, за маленькой приглядывать...

— Да куда я тебя возьму, горе ты моё луковое? — Тётка Шура прижимала Катю к себе. — У меня у самой ртов полон дом. Не выдумывай — иди домой...

И Катя, сгорбившись, шла...

— Постой! — кричала тётка Шура с порога и давала девочке гостинцев: то конфеток, то орешков. — Бьёт он тебя?

Катя качала головой.

— А мамку?

И мамку не бил...

— Ну ничего, вот вырастешь — выйдешь замуж и уедешь на все четыре стороны!

Катя трясла головёнкой: она всё видела перед собой расхристанную мать и эту чёрную бородищу...

— Ну не замуж — делать там нечего! — лучше выучишься — и поминай как звали, а они пусть

живут как хотят, дело ихнее! — И дородная тётка Шура, сотрясаясь всем телом, принималась целовать Катю в маковку. Потом выпроваживала её: мол, ступай, покуда мой не возвернулся, пьяные его глаза!

Выучишься — легко сказать! А у Кати всё плыло перед глазами, когда Анна Васильевна сухим треснувшим голоском вызывала её к доске: Чухарёва... Так бы сквозь землю и провалиться... Чухарёва...

— Троечница! — надрывно кашляла мать. — Мать с отцом горбатятся с утра до ночи, а она, неблагодарная! — И она тыкала пальцем в сторону Раиски: та со стипендии купила себе новые полсапожки — да вот беда, не сходились они на её толстущих икрах (а у Кати ножки махонькие, тоненькие — и торчат в сапожках, точно какие пестики!). — И чего ей только надо-то? А? Одета-обута! — И кашляла, кашляла. — Нет, ну я кому говорю-то, а? Как об стенку горох!

А Катя затыкала уши — и ей вдруг слышалось тихое пение матушки... и всё-то она удумает, бедовая головушка...

— Егор, ну ты-то хоть скажи ей! — и снова кашляла, кашляла...

А Егор Семенович стал как-то по-особому засматривать на мать... Вот так, бывало, сидит себе газетку почитывает, конфетку посасывает (он до конфеток был большой охотник!) — потом глаз свой подымет из-под очков — а взгляд тяжёлый, с прищуром — да и глянет этак на Надежду свою, на Надежду Михал'ну (он её все больше так стал прозывать: Надежда, мол, Михал'на). Глянет — и долго не отводит глаз, а после, словно его уличили в чём, и уткнётся в газету сызнова: нет, ну ты смотри — и понапишут же, а? Или Катя опять удумала?..

А с неё станется! Раиска раз и похохатывает, к матери ластится: маменька, мол, а маменька (злыдня ты толстомясая, стала мать Катину прозывать маменькой — дочка выискалась!), слышь, что скажу-то! И сказывает — а мать Катина и рада-радёшенька: спелась, кумушки!

— Иду, — говорит, — нынче с техникума, а они... — И зыркает на Катю — а та пунцовая: так бы и вцепилась в бока сестрицыны, пропади ты пропадом!

Баушка Лукерья-то Ивановна увидала Раиску

— да только и сплюнула: тыфу ты, срам, говорит, какой, рожа красная, хоть прикуривай! Жалела она Катю: то конфетку сунет, то бараночку, — а когда что и выведает от Катерины про житье-бытьё чухарёвское, гори они синим пламенем: и сам Чухарь, и жена его Чухариха, и семья его!

— Иду, — говорит, — а они, голубчики... целуются!

Злыдня ты завидушая! На тебя-т кто позарится?

Мать к Кате приступом: это что такое, мол, сестрица говорит, а? А та стыдливо опустила глазёнки и сопатит в чашку с чаем — а чай горячий, жаром так и обдаёт, так и обдаёт — вся упрела, Катя-то, а всё Глебка ей мерещится: так на волнах чайных и покачивается его личико конопатчатое, так рот-большерот и усмехается: я, говорит, теперь буду твоим заступником... А голос звонкий мальчиший ломается, вот что подкова железная, поскрипывает, а вихры непослушные рыжие ни один гребень не берёт, а глаз мужичий хитрющий: так в самую душу и засматривает! И улыбнулась: заступник... Первый хулиган во дворе! Танька кудрявая только и косится: мол, и нужен он ей... Мать приступом: а ну говори! И трясёт девчонку, точно яблоньку...

— Да с соседским мальчишкой спуталась, я всё скажу! — и Раиска пошла хлестать языком.

А Катя стоит и улыбается... А эта злыдня подначивает: гляди, мол, принесёт в подоле... А мать:

— Я ей принесу! Я ей на одну ногу наступлю, а за другую потяну! — и по губам Катю, по губам... Даже Чухарёв — и тот присвистнул:

— Да ты что, Надежда Михал'на, в своём уме? — А ты помалкивай!

Тот и умолк... да в комнатку свою — юрк!

— И смотри у меня: увижу с ним... — и кашляет, кашляет...

А губы у него... ну вот что леденцы красные блестящие: он, когда начнёт говорить — а говорит он быстро-быстро, лопочет, будто бежит за ним кто, — так они, леденцы, слипаются... Он их и облизывает, облизывает... И лицо такое... в конопушках всё — будто булочка-маковка... И глаза-смородинки полусонные...

Вот пошли в обнимку... А снег хрустит под валенками, а щёчки разрумянились... А и холодно... И дышит в шубку Катюшкину своим ртом-большертом — и вихры непослушные рыжие из-под шапки выпростались, покрылись инеем... И леденцы огнём на морозе горят... и трескаются... А давай сбежим? И облизывает, облизывает леденцы те... А куда? А мы карту возьмём — у меня карта такая, во всю стену, — зажмуримся и пальцем ткнём: я в книжке одной читал... И упали в сугроб — а небо синее, и звёздочки проглянули... И нет ни чёрного дядьки, ни Раиски, ни матери... Или разве что на небе... И сердце заходится... Вдохнула, выдохнула... Поднялись — и идут в обнимку: и ни зги не видать, и мороз трещит, и головушка бедовая кружится... Глядь, фигура чёрная — и приближается... Обними меня покрепче, Глебка, мне страшно... И сердце заходится... А фигура всё ближе, всё ближе... И встала как вкопанная... Мать!!! И выдохнула — а вдохнуть не может... А мать постояла-постояла — развернулась и пошла... и ни слова ни полслова... И всё меньше, меньше становится чёрная фигурка — вот и точкою замаячила... Давай убежим?... И леденцы облизывает... А Катя точно на ниточке, точно к фигуре той привязанная... Оттолкнула Глебку — и за матерью... да со всех ног... Догнала... плетётся, будто собака шелудивая... А та ворот подняла, на Катю не глядит — и только кашляет, кашляет... И ветер ей подхрипывает...

Дома шубу скинула, шаль, валенки, рукавицы пуховые да на руки окоченевшие дохнула — и ни слова... На Раиску только цыкнула, когда та стала к ней ластиться: маменька, а маменька...

А Катя слегла — и всё ей виделось леденцы красные — и сердечко заходило: стук-постук, стук-постук... Глебка, а Глебка, а давай сбежим... И губы сухие облизывала... Очнулась — а у изголовья леденцы в жестяной баночке: Чухарёв поднёс, он большой охотник до конфет...

— Ты всё леденцы спрашивала... — и пошаркал в свою комнату, поигрывая конфеткой за щекой.

А как встала с постели — а там худющая, одни глазёнки на лице, да провалились, в глубь ушли, словно звёздочки на небе проглянули! —

на место их заветное кинулась, всё ждала его... А он с Танькой стал гулять... А Танька красивая, кудрявая... Да ещё нарочно, как мимо идут — тот-то глаз свой смородинный отворачивает, — а она громким голосом: обними, мол, меня, Глебка, — и на Катю таращится... И юбка-то у неё плиссе новая, и сапожки на каблучке, и серёжки золотые в ушах сердечками...

А Катя с лица сошла...

— Всё воет и воет — никакого покоя! — кашляла мать и запирала дверь: в шесть часов вставать. — Да ты-то что ещё кобенишься? Ложись давай, всех газет не перечтёшь! Да гляди слипенешься от леденцов-то!

— Иду-иду, Надежда Михал'на, ч-ч-ч... — и Чухарёв тихохонько прикрывал за собой дверь, приложив пальчик к губам, и на цыпочках уходил на кухню: там справней, да и колбаска, опять же, и чаёчек, и конфеточки где-то припрятаны: ч-ч-ч...

А Раиска на Катю зыркает: видела, мол, твоего Глебку с Танькой кудрявой — и зубы скалит, рожка твоя красная! А сама полсапожки натянула на икрищи свои — а они по швам затрещали да и лопнули: так тебе и надо, злыдня ты толстомясая! А все Катя виновата: беленькая, тоненькая, вот что тростиночка, глазища огромные, ресницы пушистые... Что ни наденет, все ей к лицу, хоть дерюжку какую драную. Так бы и убила её, змею подколодную... Раиска стиснула зубы — да на Катю с кулаком кинулась... А та ручку свою сухонькую выставила, изо всех сил зажмурилась... Что такое? Голосок вдруг тоненький выплыл из-под дверцы закрытой, из матерной комнаты... Катя прислушалась: никак, матушка, никак, поёт? И глядит на Раиску: может, она, Катя-то, опять что удумала? А Раиска шары выпучила, на Катю смотрит беспомощно, а кулак так и держит, словно прирос он к воздуху... И Чухарёв выполз из кухоньки, поигрывая леденцом за щекой, глянул из-под очков на Катю с Раискою. И опять голосок тот запел...

Катя с Чухарёвым да Раискою кинулись в матерну комнату — а она лежит на кровати... вся расхристанная, и поёт тихохонько...

— Матушка...

А мать приложила пальчик к губам и поёт себе...

Чухарёв почернел лицом, Раиска только шарами своими лупает — одна Катя что блаженная: не может налюбоваться на свою матушку... Наконец-то, а я, мол, думала, не вернёшься уже... И слушает — не наслушается, и кажется ей, что в дверном проеме Егорша стоит...

— Может, тебе надо чего, а, Надёжа? — и Чухарёв переминался с ноги на ногу, виновато глядя на жену.

А матушка только махнула рукой — и на Катюшку свою поглядывает: оставь ты, мол, нас, Егор Семеныч, в покое. Тот и ушёл... Катюшка ей одеялко подоткнула под бочок, убаюкала: спи, мол, матушка! А в дверном проёме Егорша стоял...

И не отходила от матери Катя: все дни и все ночи кормила её, поила её, баюкала... что дитё малое... А та только пела — да махнёт рукой, когда Чухарёв или Раиска покажутся: мол, оставьте меня в покое — те и скроются, виноватые... Никого не допускала до себя матушка: ни бабушку Лукерью Ивановну, ни тётку Шуру — одну Катю... А уж та счастливая! Мать кончается — а ей любо-дорого! Говорят — не наговорятся: и про то, как была она, Надёжа, молоденькая, да ладненькая, да беленькая, ну вот как ты теперь, и про то, как Егорша к ней сватался, как взял её за себя, как жить начали, как Катюшка у них родилась махонькая, а ты такая была хорошенькая, Егорша, как увидал тебя, и кричит: ах ты моя, кричит, яблонька!

И уж напоследок матушка промолвила: прости ты меня, Катюшка, не в себе я была... И затихла...

Отпевали матушку в церкви. Чухарёв стоял чернее чёрного... А Катя... светилась вся!

— Это он её в гроб загнал! — и баушка Лукерья Ивановна ткнула пальцем в Егор Семёныча.

А тот стоит себе, глазами лупает. И Раиска рядом толстомяся: полсапожки верёвкой перевязаны...

— Уезжать тебе надо, Катя, подобру-поздорову! Изведут они тебя! — и тётка Шура округлила свои глаза на Чухарёвых — а сама руку к животу прикладывает: опять брюхатая!

Баушка Лукерья Ивановна только и поддак-

нула: мол, как есть, уезжай! А сама на Шурку и зыркает: дурища-то где! Жрать нечего — а она приплодилась!

А Чухарёв прослышал про Катин отъезд — да только два слова и выронил: мол, не враг я тебе, Катя. Мол, хочешь, уезжай — дело хозяйское, а только никто, мол, тебя пальцем не тронет, а если и тронет кто — и он зыркнул на Раиску — так получит хорошего рожна! Мол, твоя комната целёхонька — хочешь, сама живи, хочешь, жильца пусти. На том и весь, мол, сказ. И пошёл, поигрывая леденцом за щекой, — одна у него и осталась отрада на старость лет...

А Катя на учительницу выучилась, расстелила карту большущую — да пальчиком и ткнула куда ни попадя... Вещицы собрала, два слова прощальных Чухарёву с Раиской кинула — и в дорогу: не поминайте, мол, лихом. Правда, поговаривали, Чухарёв прослезился будто да денег дал Кате: на, мол, на первое время, а надумаешь — возвращайся... и пошаркал старческой походкой, леденец посасывая...

А деньги-то немалые — вот те крест! Так божжились бабушка Лукерья Ивановна да тётка Шура на два голоса, ровно те деньги видели.

Стала Катя учительствовать, Катерина то есть Егоровна. Директор школы — сердитый человек со скомканным личиком — глянул на неё да и говорит: вы, мол, это всерьёз, Катерина, мол, Егоровна, или так, мол, баловство одно, с женихом, мол, поругались? И определил её к Алевтине — местной библиотекарше — на постой. Про неё так говаривали: женщина она хорошая, тихая, спокойная, слова от неё плохого не услышишь... но это на трезвую голову... А запьёт — держи коней... Спасу никакого нет... Вот директор и рассудил: приживётся, мол, Катерина с пропойцею — останется, нет — ну, на нет и суда нет... А Алевтина увидела Катю с пьяных-то глаз: «Ой, — кричит, — да ты как с картинки!» И то, Катерина-то полсапожки себе справила Егоровна лаковые, пальто в талию, шляпку с полями, ридикюль. Там залобуешься! А Алевтина своё: Катеринка, мол, картинка! Так и прозывала её... Но то спьяну — на трезвую голову всё больше помалкивала да книжки глотала запоем.

Стала учительствовать... А городок-то у нас махонький: всё как на ладони, всё про всех известно. Каждый человек — точно волосок на лысине. Вот что Яков Яковлич — доктор-вдовец, или Анна Минаевна — плющечница, или Марфа — медсестра брюхатая, или вот хоть Алевтина — пропойца-библиотекарша. И про каждого тебе наплетут с три короба: и что было, и чего не было. Одна Катерина как ни при чём: отучительствовала своё — а после юрк в комнатку да дверь перед самым Алевтининым носом и захлопнула. И что она там делает, одному Богу и ведомо. Поперву бабы наши да мужики приступом приставали к Алевтине: мол, кто да что, Катерина-то Егоровна? А она, Алевтина: да ни стуку, ни звуку, мол, ничего и не вызнаешь. А спрошу, мол, что — она головёнкой мотнёт, ридикюль свой в руки — и пошла учительствовать. Да что она, ест-пёт? Да пёс её разберёт, поклюёт, мол, чуток с утраца — и весь день будто сытая. И в чём душа держится... А после махнули на неё рукой, наши-то: что с неё взять — городская, мы ей, мол, не чета, вот морду и воротит, мол. Да прозвали Катерину Егоровну «учительница Чухарёва»: мол, только и знает что учительствовать. Да и фамилия увесистая, не гляди, что сама тонконогая.

Один Яков Яковлевич рукой не махал на Катерину-то Егоровну. Как завидит её, шляпу съмет с головы чёрную — да и кланяется ей: здравствуйте, мол, Катерина Егоровна, как ваше здоровье? На что, мол, жалуетесь? А она ему: да, спасибо, мол, не жалуясь. И бежит с глаз долой. А тот ей вослед опять кланяется, вот чудак. Да в другой раз завидит: мол, как ваше здоровье, Катерина Егоровна? В гости б, мол, зашли, у меня, мол, книг-то поболее, чем у вашей соседки. А она: да спасибо, мол, Яков Яковлич, у самой, говорит, столько, что читать не перечеть. И бежит, торопится. Тот кланяется. В третий раз приметил: здравствуйте, милая Катерина Егоровна, мой-то мальчишка не сильно шалит? Да нет, мол, смирно сидит. Это Андрейка-то! Ну, кланяется, нечего делать.

И так кланялся, кланялся, шляпу съмал, съмал — а после завидел её — а она идёт, ветром

колышется, вот что тростиночка, такая беленькая, такая ладненькая... И встал как вкопанный, а шляпа на голове... И молчит, язык прикусил, что пугало огородное. Учительница Чухарёва прошла было мимо, да остановилась: здравствуйте, мол, Яков Яковлич. И глядит на него: и что это, мол, не здороваётся, шляпу не съмает... А тот постоял-постоял — да и пошёл себе... И не поклонился...

Учительница — к себе в комнатку... да и закрылась на засов... А бородища чёрная, а глаз масляный лезут во все щели, так и прут, а голос словно висит в воздухе, покачивается: а здравствуйте, милая Катерина Егоровна... милая... И страшно-то как, и сердце заходится: стук-постук... Милая, милая...

Ночь не спала, а утром ридикюль хватъ — да ноги сами и несут... Выдохнула, а вдохнуть боится... Придержала шаг... Остановилась... Нет никого... И на другой день нет, и на третий... А сердце заходится...

А мальчишка, Андрейка-то, как ни в чём не бывало, на уроках пакостит... Пошла к дому Терентьеву, что преступница, пошла затемно, да толку чуть: ставни закрыты тяжёлые...

Домой вернулась — Алевтины след прощыл... да что ж это... стук-постук: милая, милая... Так и просидела в сенцах ночь... А наутро ридикюль взяла — и учительствовать... А и шаг уже не останавливала...

Спасибо, тётъ Паша, что торгует на площади яйцами да курицами, ей встретила: ой, девка, да на тебе лица нет! — и пошла причитывать. А учительша нарочно руку к сердцу прикладывает — это чтобы торговка, значит, скорее приметит. А та сейчас и в крик: ступай, мол, к Як'ву Якличу! А учительше того и надобно! Знает, что тётъ Паша, торговка шустрая, разнесёт по всему городку: мол, приметит она, тётъ Паша, Катерину-то Егоровну, Чухарёву учительницу, а на ней лица нет и за сердце дёржится, так она, тётъ Паша, силком к дохтуру пойтить и заставила, к Якличу, а не то и поминай как звали... Да добрый десяток яиц — а то и более — отсчитала Катерине Егоровне: мол, ешь на здоровье — а там яичко к яичку, еще тёпленькое!

Так с яйцами в больницу и зашла. А фельдшерница ей сквозь зубы: а нету, мол, дохтура... А где он?

А в деревне, мол, вызвали на операцию... А когда будет? А будет к вечеру... И смотрит на яйца... А те постукивают: милая, милая... Могу вас осмотреть... Да нет, дождусь, мол, Якова Яковлича... А сама опустила головёнку... А кокушки, мол, для Як'ва Як'лича? Кокушки?... Ну, яйца то есть... А-а, нет... А сколько просите?... Да за так отдам... только бы не постукивали... Та, фельдшерица-то, яйца хватать — и понесла, довольнёшенька... Ой, Яков Яковлич, что-то вы рано возвратились-то, да бок весь в грязи! Милая, милая... И увидела его...

Яков Яковлевич в грязном пальто только махнул рукой: да не успели, мол, поздно приехали... Фельдшерица заохала... Ну будет вам, Прасковья Федоровна, и так, мол, голова трещит... Яишенку покушаете? И тычет яйцами в лицо Якову Яковличу... Милая, милая... А ну, услышит он... Катерина Егоровна зажала рот кулачком... Да какую яишенку... Глазунью... И обернулся:

— Вы ко мне? — не узнал... — Сегодня приёма нет... — И пошёл по коридору: пальто в грязи, бородачи всклокоченная...

— Да вы завтра приходите, милая, — пропела Прасковья Федоровна, — завтра! — И шёпотом, приложив кулачок ко рту... — Совсем зверюкой стал, как овдовел, на людей кидается... — И улыбнулась учительнице Чухарёвой, и яйца прижала к груди...

Милая... Милая... Да и выскочило кокушко из кошёлки: стук-постук...

— Что такое? — Яков Яковлич резко обернулся — а Прасковьи Федоровны уж и след простыл. — Вы?..

Чухарёва мотнула головенкой. Милая, милая...

— Что-то срочное?

Фельдшерица выглянула из-за угла. Чухарёва закивала: а как же, срочное, мол, уж такое срочное, дальше некуда.

— Ну, пройдите в кабинет — я сейчас.

Учительница села на стул... да и закиварила: и то, которую ночь не спала... Глаз продрала — а Яков Яковлич стоит в дверном проеме, глядит на неё...

— Ой, что это я... Вы уж простите меня, Яков Яковлич... — И поправила свои бело-пышные волосы.

— Да это вы меня простите, Катерина Егоровна, устал как собака... Три часа в дороге... трясёт, машина завязла: грязь непролазная... не успели мы...

Катерина Егоровна покачала головой.

— Вы вот что, вы приходите завтра вечером, но не сюда, а ко мне домой. Придёте?

Катерина кивнула.

— Не заплутаете?

Нет, мол.

— А мне надо соснуть по шестьсот секунд на каждый глазок...

Катерина улыбнулась Егоровна.

— Ну вот и умница! Придёте?... Не врёте?

Фельдшерица просунула голову в дверь.

— Чего вам ещё?

— Да я вот... яичню изладила... со шкварочкой... — И тычет в лицо Якову Яковличу большущую сковороду: там шкворчит во весь дух... а яичня свои четыре глаза выпучила, а глаз-то рыжий, масляный...

— Давайте вашу яичню!

— И хлебушек чёренький...

— И хлебушек... А вы, Катерина Егоровна, как, со мною откушаете?

Учительница помотала головенкой... Глядь — а глаз рыжий и потёк... да по бородище Якова Яковлича...

— Совсем одичал, сердечный, как овдовел-то, — зашептала фельдшерица, приложив ко рту кулачок. — И забыл, небось, про домашнее...

А Чухарёва поторкалась-поторкалась у дверей — да и пошла себе...

А дома достала из комода большущего лифчик розовый новёшенький — то на чухарёвы деньги купленный... Она, когда уезжала, Катерина-то, так тётушка Шура и шепнула ей на ушко: ты, шепчет, Катя, перво-наперво купи на те деньги — будто она их в руках держала, деньги-то те! — так, шепчет, купи ты, мол, себе рубашечек, штанишек да лифчиков с кружавчиками, страсть, мол, как люблю кружавчатое, у самой, мол, отродясь не было приданого, так, мол, без штанов взамуж и пошла! — и вздохнула, и живот поглаживает... Так и баушка Лукерья Ивановна, уж на что кошёлка старая, а и та поддакнула: мол, как же, нельзя

деушке без приданого — и сама бы, мол, прикупила кружавчатое, да кто меня возьмёт-то нонече, черву старую, — и оскалилась беззубым ртом...

Вот обрядилась Катерина — и к зеркалу — а грудки атласные, да кружавчиками отороченные — ну вот что наливные яблочки...

И в сердцах скинула, лифчик-то с кружавчиками, панталончики-то — то всё приданое, на чухарёвы денежки всё куплено — гори оно синим пламенем! Ой, матушка, силушки нет... И повалилась на постель, вот точно то яблочко спелое, опавшее... И всю ночь металась по постели, словно яблочко по тарелочке — и куда ни кинься, всё бородища чёрная да глаз масляный проглядывают... пропади они пропадом... И откуда ты взялся на мою голову... А бородища знай похохатывает, глазком подмигивает...

А утром отписала Чухарёву: мол, здравствуйте, Егор Семёныч, пишет вам Катерина Егоровна, мол, так и так, в гостях хорошо, а дома лучше, мол, ждите к праздникам, к Покрову, — а после бумажку сложила, в конвертик сунула, ридикюль в руки — и учительствовать, да пошла мимо почты: письмо снести. Вот идёт, а пальтишко в талию, а полсапожки лаковые, а шляпка чуть набекрень — и волосок белый по ветру летит пушинкою...

— Здравствуйте, милая...

И сердечко зашлось... И обмякла вся, квашня квашнёй... И бородища эта чёрная, и глаз этот масляный — и никуда-то не денешься...

— Как ваше здоровье?

И письмо в руках комкает...

— До вечера потерпите?

Да где уж там, сил совсем нет... Так бы на грудь и кинулась...

А тот шляпу снял и откланялся... Только его и видели... Девчонка того и гляди Богу душу отдаст, а ему хоть бы хны... А еще дохтуром прозывается... Совсем озверел, как жену-то покойницу на тот свет спровадил, вот те крест... Бабайка старый...

И поплыло все перед глазами учительши: просит, Катеньку отдай... Мы Катишку не дадим... пригодится нам самим... И так ладно поёт матушка, так справно... И всё-то она ду-

мает... А он стоит в дверном проёме: бородища чёрная, глаз масляный... И про все на свете спевает матушка... А голос тихий, тоненький... И сердце заходится... стук-постук, стук-постук... Милая, милая... А и опасно лечить Катерину Егоровну... И леденцы облизывает...

Чухарёва очухалась... Где это я?

— Спице, спице, милая... — и одеялко подоткнул под бочок... и поплыл восвосяи, да в дверном проёме остановился... А бородища чёрная, а глаз масляный — в темноте светится... — Завтра в шесть часов вставать... — и дверь прикрыл...

— Егол... Яков Яковлич... — вскочила, что ошпаренная... И замолкла, губёнку прикусила... Розовый кружавчатый лифчик на подушке нежится...

Оделась, постель заправила...

— Да что ж вы, Катерина Егоровна? Вас пальцем никто не тронет... — и стоит в дверном проёме... вздохнул... и не выдохнет...

— Пойду я, Яков Яковлич, поздно уже...

— А-а... так я доведу... посидите чуток...

Она села, прибрала волосы свои бело-пушистые в плюшечку...

— Чайку?

Помотала головенкой.

— Поздно уже...

— И десяти нет... Ну да, да...

Мальчишья мордочка просунулась в щель.

— Чего тебе?

— А что вы делаете?

— Много будешь знать — скоро состаришься!

— А я с вами хочу!

— Иди, кому говорю! — И Яков Яковлич захлопнул дверь перед самым носом мальчишки.

— Ну пап!

— Ох я кому-то задам... — В руках Якова Яковлевича блеснул ремень.

Мальчишка присвистнул — и только его и видели.

— И в кого растёт... — А сам бородищу тербит, с ноги на ногу переминается.

— Пойду...

— А сердце... Да вы не бойтесь, Катерина Егоровна... нервное переутомление... довели вы себя, скажу я вам... и в чём только душа держится...

– Спасибо вам! – И пошла...

– Катя... Катерина Егоровна, а я ведь теперь всю жизнь вашу знаю... вот так... как пописаному...

Чухарёва выпучила глазёнки, прикрыла рот кулачком...

– Но про то ч-ч-ч... – И он приложил палец к губам...

Выведал... Опоил каким зелием – и вывел... Да он и жену на тот свет спровадил, покойницу... Совсем зверюкой стал, как овдовел... И мальчишку в хвост и в гриву шерстит...

– Катя... Я человек немолодой уже...

Мальчишья мордочка просунулась в дверь.

– А ну сгинь, кому говорю...

Андрейка юркнул в темноту.

– Да что это я... – Яков Яковлич потерял бородищу. – Немо... вы не перебивайте...

А Катя разве перебивала – сидела не шелохнувшись...

Он тяжело вздохнул... выдохнул...

– Я что подумал... – Обернулся... Катя спрятала глазёнки... – Да, поздно... Пойдемте, я вас доведу... – Яков Яковлич вышел в сенцы, накинул худое свое пальтецо...

– Ты куда?

– Да вот доведу Катерину Егоровну: поздно уже...

– Я с тобой! – загундосил Андрейка и повис на руке отца.

– Отстань, тебе говорят! Пристал, что баный лист к причинному месту...

– Ну пожалуйста!...

– Ну ладно, чёрт с тобой...

Вышли молча... Мальчишка плёлся сзади. Ноги совсем не слушались Катю... Да и кофточка что-то стала тесной в груди...

– Погода-то нынче...

– Да... – и сглотнула слюну.

– Лист со дня на день опадёт...

– Да... По всему...

Мальчишка посапывал.

– И яблоки уродились...

– Да...

Ускорили шаг... А ноги совсем не идут... Да пуговка вот-вот отскочит, будь она неладна...

– Катерина Егоровна... Я...

– Да, Яков Яковлич?..

– Папочка, милый! – мальчишка Терентьев вдруг тяжело задышал. – Я буду тебя слушаться, я больше не буду... Папочка, ты только не женись, пожалуйста! Я что хочешь для тебя сделаю... Хочешь, я... Папочка, а хочешь, ну вот хочешь, я скажу тебе, кто обрюхатил Марфу, ну хочешь ведь? Только никому... Это Валерка-тракторист! Но он хороший: он мне порулить давал – и конфет у него завсегда завалились, и изюму разного... Это она, Марфа, не хочет с ним, а он... Я, говорит, выучусь, я, говорит... Катерина Егоровна, я все уроки буду учить, я буду себя вести хорошо, Катериночка Егоровна, вы же хорошенькая, ну не женитесь, пожалуйста, на папе, ну что вам стоит... – Он вис на отцовой руке и надрывался-то, сердечный... Папочка, Катерина Егоровна... Ну что вам стоит...

Яков Яковлевич поймал мальчишку. Тот было пригнулся: ещё как даст! – но отцовская рука нежно легла на его непослушные вихры: ни один гребень не берёт!

– Горе ты мое луковое! Да кому мы с тобой нужны, а? Да кто нас возьмёт-то с тобой?

– Ты не женишься, пап? Вот честно-честно?

– Честно.

– Нет, ну честно-пречестно?

– Честно-пречестно.

– Клянёшься?

– Клянусь!

Мальчишка еще долго что-то кричал, заставляя Якова Яковлевича клясться всеми возможными клятвами на свете.

– Ну, вот мы и пришли... Спасибо, что довели... – Катя глянула на Якова Яковлевича и протянула ему руку.

Господи, да он и не старый совсем... И глаза, глаза... что у него с глазами-то?..

– Сынок, ты ступай, дай мне проститься с Катериной Егоровной. Ступай.

– А ты не женишься?

Отец помотал головой.

– Клянусь!

Мальчишка отошёл в сторонку и наблюдал за учительницей и отцом, попинывая камушек выдавшим виды башмаком: тот явно просил каши.

– Ну, спокойной ночи, Катерина Егоровна! Вы уж, пожалуйста, не болейте больше... –

Яков Яковлевич стоял как вкопанный, не подымая на Катю глаз.

— Спокойной ночи, Яков Яковлевич!

— Ну, я пошёл... — он глянул на Катю.

Ей почудилось — или то всаправду — в глазах его блеснуло будто что, будто что проглянуло!

— Ну, прощайте тогда, Катерина Егоровна... Не поминайте, как говорится, лихом... — и он быстро зашагал в сгушающуюся темноту, смешно размахивая ручищами. Мальчишка бежал за ним вприпрыжку, что-то громко выкрикивая. Отец обнял его и замедлил шаг.

— До свидания, Яков Яковлевич! — Катя стояла у крыльца, едва различимая в темноте.

— А-а, пришла, что ли? А эт' кто с тобой? Никак Терентьев? Ну-ну... А погодка-то нынче... Кать, слышь, что ли? — Алевтина попыхивала папироской в лицо Катерине. — Да ты плачешь, а? Эт' по нём, что ль? Да он же старик! И спирту у него сроду не допросишься: жадный, чёрт! — и она прыснула со смеху, пьяные её глаза!

— Сама ты старуха!

— Скажите пожалуйста! — и разобиженная соседка скрылась за дверью.

Катерина, что неживая, уставилась в темень, куда ушли Яков Яковлевич с Андрейкой, — а тут шаги: кто-то торопится будто, поспешает...

— Катя...

Яков Яковлевич!.. А голос-то дрожит как! Вдохнула, выдохнула... дышите... не дышите... дышите...

— Катя... мне послышалось... вы сказали что-то?.. — И смотрит глазом жалостливым.

И сердце зашлось... дышите...

— Я сказала... «до свидания»...

— Да?

— Да...

— Честно?

— Честно...

— Честно-пречестно?

— Честно-пречестно...

— Клянетёсь?

— Клянусь!..

— Ну... тогда... до свидания!.. Андрейка! — Яков Яковлевич вложил три пальца в рот — и ка-а-ак свистнет во всю Ивановскую! — Да постой же ты, слышь? Давай в догонялки!.. — и он, вот что мальчишка, бросился со всех ног в темноту...



Жа-а-арко... пи-и-ить... «Питеньки!» Маленький Саша тонул — и отчаянно барахтался, сбивая простыню в комок... И тут молоко превратилось в масло... И кто это там «ноженьками сучит, а?..» «Потягушеньки-порастушеньки-поперек толстушеньки...» Он яростно бил ногами, потом вскочил, весь «мокрущий»... И кто это там «посвистывает, а?..»

Сосед по комнате Валентин Дудко спал здоровым крепким сном тридцатилетнего мужчины. Его рот был младенчески полуоткрыт — и блаженная слюна мирно орошала красный цветок казенной подушки.

Какая душная ночь! Александр Иванович

поморщился, вытер пот со лба, надел брюки, рубашку, вставил ноги в сандалии... Сонное тело не слушалось его — и он задел в темноте этажерку с книгами.

— Ч-черт...

— Что? — крикнул со сна Валентин и подско-чил как ужаленный.

— Э-э...

Но Валентин уже «сопел в три ноздри»... так бабушка Александра Ивановича Анна Лукьяновна говаривала. А маленький Саша и пристанет «что банный лист к причинному месту»: «Баб Ань, а баб Ань, ну как так три ноздри, ну скажи!» А бабушка только и махнет рукой: мол, да уйди ты, неугомон — и пойдет мельтешить спицами: это она носок вяжет или шарфик маленькому Сашку (она его Сашком называла)! Или еще так говаривала: спит, мол, «без задних ног». А Саша тут как тут: «Баб Ань, а баб Ань...» Царство небесное...

А свежесть-то нынче, а! Липа цветет! Как же, конец июня. Бабушка в это время всегда липовый цвет заготовливала, да так и приговаривала: мол, липовый цвет — от хвори лучше нет... Александр Иванович сладко зевнул, потянулся: «потягуши-порастуши»... и тут же растерянно обернулся, не смотрит ли кто... Никто не смотрел, разве луна... Аж голова закружилась! Мальчиком он всегда думал, что луна сделана из слоновой кости, точь-в-точь как бильярдные шары: он видел такие в Доме культуры, куда бегал в кино с Валеркой, старшим братом, и его дружками. Правда, Валерка задирает нос перед братом: вот еще, будет он возиться со всякой малышкой, мол, на билет — и сиди себе... Он и сидел... А Валерка как-то по-особому, залихватски, что ли, зажимал между пальцами кий и гонял шары по зеленому полю: э-эх, ему бы так... Он ведь сроду не брал в руки кий, а так хотелось, так хотелось... Александр Иванович закурил... Он рос болезненным мальчиком: «худосочным», как говаривала бабушка. А он и рад: «хоть горшком назови — только в печь не сажай»... и это тоже ее присказки... Вот он заболит — а она поит его липовым цветом из детской кружечки (маленькая, желтенькая такая... и слоник на ней нарисован... розовый!) да рассказывает про

свое нехитрое житье-бытье. А Саша замирает от счастья, ловит каждое слово: только бы она не уходила, только бы не уходила... Мать весь день на заводе: отец-то «наплодил детей», а сам «поминай как звали» — вот мать за двоих и вкальвала. А бабушка Аня с внучками. Валерка-то, старший, «человеком стал»: армию отслужил — да на тот же завод слесарем. Руки у него золотые: за что ни возьмется... А Саша...

«И в кого ты у меня такой? — И мать кручинилась, глядя на болезненного долговязого мальчика. — Во двор бы сходил, что ль? Вон мальцы в футбол гоняют. А, Саш?» А Саша весь день сидел над книгами. «Я ему на обед даю, а он брошюры скупает, а? А потом жрать просит. Вот и жри свои брошюры! — А Саша сидел, словно колтун проглотил. — Ты слово-то матери скажи, а? — И мать в сердцах махала рукой. — Все ученые нынче стали. Куда деваться!» А бабушка: «Одни уши торчат, — смеялась. — Учи, сынок, учи!» — И гладила внучка по голове.

Александр Иванович не заметил, как заплутал... Те-е-емень страшная: хоть глаз выколи. На улице ни души... И только липой пахнет, как липой пахнет...

Он прислонился к дереву и долго стоял неподвижно. Его глаза привыкли к темноте — и он стал различать очертания домиков, похожих один на другой. Тут и при свете дня-то заблудишься... Он заметил, как в домике, что справа от него, загорелся свет — и две фигуры, кажется женские, вышли на террасу. Александр Иванович затушил сигарету и притих, спрятавшись за дерево. Теперь он мог слышать только голоса... женские голоса...

— ...Да успокойся ты!

— Да мне умереть захотелось! Такой, знаете, дешевый малиновый костюм, большие манжеты... это... это... И он так нелепо обтягивал ее толстое тело... Как стыдно ходить в таком костюме, как... Вот будто это я! Вот так же выряжусь, вот так же покажусь в нелепом малиновом костюме, выкину что-нибудь эдакое — и все смотрят на меня... нелепую, смешную... а потом в нору, понимаете... И это вся моя жизнь... Этот малиновый костюм...

— Эх, блажишь, девка... Молодые вы еще...

Голода не знаете, нищеты... У меня вот платье было одно про все на свете, коричневое такое, темно-коричневое, из грубой дешевой ткани... Как мешок — так я...

— Но я же не о том. Вы меня не поняли, не поняли!

— Да будет тебе, спать пойдем...

Не поняли, не поняли... Александр Иванович опустил голову. Он всю жизнь донашивал за Валеркой его одежду: пальто, штаны, кофты, даже эти ненавистные чулки... А Валерка хохотал... Он был крепкий мальчик — и его штаны смешно болтались на тоненьких Сашиных ножках. Зато Саша быстро вымахал — и рукава Валеркиного пальто стали ему коротковаты. «Ну я же выше Валерки! Ну почему я должен носить его пальто? Ну пусть он носит мое...» — «Вот вырастешь, — говорила мать, — костюм тебе купим». — «Но я же вырос! Ну почему?..» — «Он старший брат...» Да если б ему кто подарил тогда малиновый костюм... Да у самого Витька Короедова отродясь не было малинового костюма, хоть он и ходил с самой смазливой девчонкой во дворе Галкой Шульц. Э-эх, Галка, Галка... Да если б у Александра Ивановича был малиновый костюм, да Галка бы как миленькая...

— Да не пойду я никуда...

— Ну и сиди... Ночь на дворе... Будить не стану...

Хлопнула дверь, погас свет. А девушка на террасе плакала и плакала... Александр Иванович боялся пошевелиться, как тогда...

— А я, кажется, Сашке нравлюсь! — говорила смазливая Галка Витьку, а бедный Саша готов был провалиться сквозь землю! — Он умный... — Она хохотала, играя со своим кавалером, а Витек только скалил зубы: за ним бегали все девчонки, а кому нужен этот...

— Штырь! — выпалил Витька. Галка зашлась от смеха. «Штырь, — повторяла она. — Штырь!»

Саша залился краской стыда...

Он проторчал в своем укрытии всю ночь: вот назло, вот он умрет — посмотрим тогда, кто Штырь, а кто... А наутро он слег с ознобом. «О-хо-хонюшки, — причитывала бабушка, — и где черти носили, а? Застудился, а!» — и поила внука липовым цветом. А Саша проваливался

в какую-то глубь и просил Галку и Витька, чтобы они его не топили: ну пожалуйста, ну не топите меня-а-а... «Забаливает, сердечный!» — И ну мельтешить спицами. Нет, это не спицы — лопасть парового колеса... Вот его уносит под воду, вот Галка с Витьком хохочут, удаляясь на белом пароходе... Как страшно, как страшно... Ну пожалуйста... Ну Галка... Галочка... «Свиристелка тонконогая, — пела бабушка, — тыфу, там и смотреть-то не на что! Помяни мое слово, такая же толстомытая будет, как бабка Шульчиха, кошелка ты старая, чтоб тебя черти на том свете поджарили... Иду давече, а она...» Галочка... «Да ты мой сердечный!»...

А девушка все плакала... а Александр Иванович все стоял и стоял как вкопанный...

— Ну-ну! — Валентин бросил на пол гирию и игриво посмотрел на сонного Александра Ивановича, вернувшегося под утро.

— Вот, прогулялся немножко... — И Александр Иванович виновато глянул на разгоряченного соседа и стал укладываться в постель.

— Ну-ну! — повторил Валентин и подкинул гирию.

«Штырь, Штырь! — крутилось в голове Александра Ивановича. — Да кому нужен этот Штырь... Свиристелка тонконогая... Галочка...»

Перед глазами Александра Ивановича поплыло... В каком-то мареве он брал в руки большой кий и ударял им по шару-луне, а она падала с неба, словно гирия... А Галка, Галка, в малиновом костюмчике, хохотала, дрыгала тонкими ножками-спицами и косо поглядывала на Александра Ивановича...

— Подъем! Слышь, сосед? Каша стынет! — И Валентин хлопнул Александра Ивановича по плечу со всей своей молодецкой силой. — А с виду вроде не ходок! — И он как-то по-бабьи захохотал. — Ну вставай, вставай!

Александр Иванович нехотя потянулся. Валентин продолжал хохотать. Вот так же хохотал «мамкин хахаль»: «зубы скалил», как говаривала бабушка. А один зуб, верхний, был золотой, а может, металлический, черт его знает... Шик! Подруга матери тетя Клава так и заявила: дура, мол, ты, Серафима, душой, мол, и помрешь! Зуб в золоте — значит, в достатке че-

ловек живет, чего кобенишься-то? Одна ить одинешенька! Много ль ты, мол, ласки-то от свою видала, пес его дери? Мне б, мол, етого Валентина — живым бы не ушел. И ить берет, мол, с двумя детьми... Мать только стыдливо опускала глаза... Александр Иванович поморщился: Валентин... надо же... «Валентин твой хвалентин пришел, встречай дорогого гостя!» И мать стыдливо опускала глаза... «Принесет на рупь, а сожрет на десять...» И бабушка в сердцах махала рукой. «И сидит водку чакает, глаза б не глядели... Нет что-то бы доброе сделал, а то звякает, как ведро пустое. И какой пример мальчонкам?» «Бабушка, я не хочу, чтобы дядя Валентин приходил к мамке, не хочу!» — кричал маленький Саша. Бабушка строжилась: ладно, мол, много ты понимаешь, молоко, мол, еще на губах не обсохло, иди, мол, спать! А сама отворачивалась, глаза прятала... Вздыхала: э-эх, мол, жизнь горькая... «Не хочу!» — не унимался Саша — и тогда бабушка заманивала его рассказами про нехитрое свое житье-бытье, а в соседней комнате хохотал дядя Валентин... А вот где был тогда Валерка, он-то почему молчал, Александр Иванович и не помнил... Как-то раз Саша пришел домой, а Валентин пьет из его детской кружечки. «Отдай, — закричал маленький Саша, — это моя кружечка, отдай!» — и вцепился мертвой хваткой в свою драгоценность. Валентин от неожиданности «шары выпучил» да как заорет: «Да я тебя, щенок, да ты у меня... Да я... Кровью будешь харкать!» — И со всей силы кинул в раскрасневшегося мальчонку желтую кружечку с розовым слоненком. Кружечка брякнулась на пол, эмаль откололась... там было ушко слоника... Саша со злости зарыдал в три ручья: ох, как же ему хотелось ткнуть в самый глаз дяди Валентина острой бабушкиной спицей, которая дырявила большой белый клубок... «Да подавись ты своей кружечкой, слизняк! Да сто лет вы меня видели!» «Ох, испужал: вони меньше!» И бабушка подмигнула маленькому Сашку.

— Который час? — очнулся Александр Иванович.

— Кушать подано! — И Валентин, скрываясь в дверях, затянул во всю глотку: «Я парень

неплохой, не ссусь и не глухой, и я, когда не сплю, золотой!»

Александра Ивановича толкнула какая-то рослая рыжая девица с разносом. «Халда!» «Простите», — скукожился он. «Проспись сначала!» — огрызнулась девица и прошествовала к столику. Александр Иванович глазами искал вчерашнюю девушку. Только бы это была не она... Голос как ржавая труба... И он озирался кругом. А вот, может, это она... За столиком сидели две женщины: молодая бесцветная моль и пожилая... наверное, та самая, в коричневом платье... так до сих пор его и носит... Александр Иванович чуть не прыснул со смеху... Нет, не она... Голос слишком высокий... У той голос был... как... журчащий ручей... нет... как...

— Эй, Саня, я здесь! — и Валентин Дудко свистнул Александру Ивановичу, призывно махнув рукой. Тот нехотя поплелся к столику Валентина. — Ты маслице-то на хлебушек мажь, не стесняйся, вот так! — Александр Иванович послушно намазал масло на кусок хлеба и принялся есть манную кашу. Лицо его расплылось в блаженной улыбке... Раннее утро. Сашенька поворачивается с боку на бок... и спать хочется, и так пахнет манной кашкой... Так сладко! Сил нет... А потом ложечку за маму, ложечку за папу («чтоб ему гореть на том свете, прощельге!»), ложечку за бабушку, ложечку за дедушку («Царство небесное, прибрала война проклятушая»), ложечку за братика Валеру... А маслице тонет в густой белой массе... Валентин подмигнул соседу своим масляным глазком: мол, он-то знает, что говорит, он-то... — Да-а, хороша каша! — И облизнул ложку. — Эй, там, на палубе! А добавочки можно? — И он завертелся, словно «вошь на гребешке». — Ой, гляди какая... — Лицо Валентина расплылось, словно масло по каше. — С такой бы я о-хо-хо... — И Александр Иванович увидел девушку за соседним столиком. Она ела кашу, уткнувшись в книгу. Вот бы это была вчерашняя... Да нет, это не она... Разве такая... У Александра Ивановича пересохло во рту...

Лучик солнца заигрывал с девушкой, словно надоедливый кавалер. Только она отвернется

— он тут как тут: путается в волосах, высветляет зрачки, щекочет ноздри...

Александр Иванович доел свою кашу и тяжело выдохнул. «А съешь кашку — увидишь, что на доньшке тарелочки...»

— Такая не даст — и не вздыхай. — Заметил его взгляд Валентин и цокнул языком.

Александр Иванович густо покраснел — и его голова стала похожа на пасхальное яйцо, крашенное луковой шелухой: так бабушка красила... «Вот так вот кокушки положим, вот так...» А «кокушки» лопались, и на их белом теле появлялась такая красная прожилка. «Баб Ань, баб Ань, на кровеносный сосудик похоже!» — «И все-то про все он у меня знает, все про все понимает! Ох, как ты жить-то будешь на белом свете...» Александр Иванович pokrылся испариной...

— Да я и... — он недоговорил и схватил разнос, заметив, что к белому дну тарелки пристал рыжий волосок...

— Да тут убирают, не суетись.

Александр Иванович сел на место. Кисель устало остывал в стакане.

— У меня случай был, — не унимался Валентин. — Приехал я в Одессу... «Ах, Одесса, — неожиданно запел Валентин, — жемчужина у моря...»

— Валь, ну ты идешь? — К столику подплыла Раиса, интересная брюнетка из Рязани.

— Извини, брат, в другой раз! — И Валентин, глянув на девушку, удалился с брюнеткой, лавируя между столиками. Александр Ивановичу почему-то стало жалко Раису... До него донеслось: «Раиса — так птицы кричат»... но тут обернулась девушка — и глаза ее встретились с взглядом Александра Ивановича. Он зачем-то поднял стакан киселя и качнул головой: мол, за вас. Девушка улыбнулась.

Он забрел в соснячок, который укрылся между липами, и она туда забрела... А небо такое синее, а солнце такое шаловливое, птички поют... Илипа дурманит, и хвоя щекочет ноздри...

— Ой, простите, я вас не заметила! — Вчерашняя!!! Голос-то, голос...

— Зато я вас сразу заметил... — Господи, вчерашняя!!!

Пошли рядом. А он трясется весь... Вот ведь...

— А хорошая здесь кухня... — Вот дурак-то где, а!

— Да, и обслуживание неплохое. — Девушка пинала носком босоножки мелкие шишки, которые то и дело щекотали ее ступни. Одна из шишек попала в яйцевидную голову Александра Ивановича.

— Ой, простите... Вам не больно?

— Нет... — И Александр Иванович положил шишку в карман. — Набил шишку...

Девушка засмеялась.

— На память...

— Гуля. — Вчерашняя!!! И так просто руку протянула. И имя чудное! Гуля, Гуля... из детских книжек...

— Александр Иванович... Можно просто... Саша. — Александр Иванович испугался короткого звука своего имени и быстро глянул на Гулю, взял ее ручку в свою ладонь... Гуля тепло задышала... совсем рядом...

— А я здесь часто бываю.

— А... А я в первый раз. — Александр Иванович еле заметно коснулся левого кармана рубашки: шишка на месте...

— Ой, вам плохо? — Глаза Гули округлились, бровки — домиком!

— Нет... хорошо...

Шли молча. Наконец Гуля выдавила из себя:

— Ну вот мы и дома... То есть я здесь живу. До свидания. — И она быстро побежала в маленький рубленый домик, ничем не отличавшийся от остальных. Александр Иванович заметил номер на двери.

— Одиннадцать, — произнес он вслух.

Он вынул сигареты из кармана брюк, закурил, шурясь от дыма. Раз он убежал от бабушки («неслушник этакий!») летним знойным деньком, а потом заблудился — и цифра «одиннадцать» на незнакомом большом доме покачивалась перед его глазами, словно чьи-то тоненькие ножки-спицы плясали какой-то чудной танец...

В окне мелькнуло что-то белое... Александр Иванович очнулся. В проеме стояла Гуля в белом домашнем халатике. Он развернулся — и быстро пошагал прочь, оставляя за собой шлейф дыма.

А вечером были танцы. Александр Иванович еще утром заметил большой плакат на воротах пансионата: рыжеволосая женщина в красном платье выделывала кренделя своими тонкими ногами, а ее черноволосый кавалер (кто-то пририсовал ему большую кавказскую кепку и черные усы) страстно обнимал ее за талию. Под плакатом была подпись: «Танцы-шманцы-обниманцы всего за сто руб. Спиртные напитки с собой не проносить!» Хорошо, Валентина не было в комнате — и Александр Иванович, несколько раз оглянувшись на дверь, вынул из чемодана одеколон «Саша»... Это ему на день рождения из года в год друзья дарят: Волобуев и Оганесян... Это у них шутки такие... «Могли бы и что путное подарить, — вечно крысилась Галина, жена Александра Ивановича. — С ихней-то зарплатой могут себе позволить. Это ты у нас все на копейках в своем институте сидишь... Мне сроду цветка пожалел... а им, небось, дорогое что тащишь... Рохля». Александр Иванович — только жить начинали — принес ей белые ирисы... нежные, хрупкие... боялсядохнуть... А она взяла, поставила в воду: «Жрать нечего, а он деньги псу под хвост выбрасывает!» — А потом на форзаце книги (его, его, Александра Ивановича, книги: слава богу, бабушка дожила: «Ишь ты!» — И попробовала красную корочку новешенькой книжки на зубок!) записала: «Цветы — рубль; молоко — 26 копеек, хлеб — 20 копеек, масло...» А ведь была хорошая девчонка. Галка... Александр Ивановичу тогда казалось, что всех самых лучших девчонок зовут Галками... Галка Шульц за Витька вышла... потом, говорят, они разошлись, она с кем-то спуталась... Темная история. А Галка Пискарева была библиотекарем в Ленинке. Бойкая такая, маленькая, некрасивая, на воробышка похожа... и хвостик такой смешной носила... Она сразу заметила Сашу — худого, долговязого, смешно утопающего в книге. Только уши торчат, как бабушка говорила... Ей замуж хотелось, а кто ее возьмет... И он такой смешной кому нужен... Вот и стала его обихаживать... по-бабски... А он и не сопротивлялся... На первое серьезное свидание его брат Валерка собирал: он к тому времени

уж был женат, имел двоих детей от Кати Кругловой: в булочной на углу работала. Ты, говорит, зубы ей не заговаривай про разные там книги, сто лет, мол, они ей нужны, она их, мол, и в библиотеке своей видит. Ты, мол, язык прикуси — и целуй в засос, вот так... И Валерка, отец двоих детей, смешно чмокнул воздух. Но Саше, в смешном Валеркином костюме, который явно был ему короток (а ведь мать не выполнила обещания: Саша вырос — а костюм ему так и не купили... померла мать, не видела «сыновнего счастья»), — так вот Саше и стараться не пришлось. Галка взяла инициативу в свои руки. Она буквально приволокла своего незадачливого кавалера домой (что с них возьмешь, с мужиков), напоила какой-то домашней наливочкой... И первый поцелуй свой он не помнил... не помнил он и того, что было потом... А проснулся он в одной постели с Галкой — и она объявила ему, что теперь они муж и жена и что, если он все-таки окажется такой же сволочью, как все мужики, и не женится, хотя обещал, отец ее убьет...

Папаша Пискарев, тишайший и нежнейший на трезвую голову, во хмелю бывал грозен. Однако Сашу принял как родного.

— Ты наливай, сынок, не стесняйся! — И он сам налил покрывшемуся пятнами «жениху» «штрафную». — Ну, горько, коль не шутишь? — Саша не шутил — и резво опрокинул стакан в горло, поцеловав Галину, и откуда только прыть взялась! Галка подозрительно покосилась на муженька. — А вот это по-нашему! — И папаша Пискарев налил зятю. Саша залихватски опрокинул и второй стакан... и третий... Папаша Пискарев засмеялся: мол, ядреную наливочку готовит его Галка, мол, не пропадешь с такой. — Слышь, паря, а т'я как звать-то? — Саша назвался Александром. В голове крутилось: назвался груздем, назвался груздем... — А! А меня папашей можешь звать. Отец-то есть у т'я? — Саша качнул головой. Пискарев прослезился. — А теперя, считай, есть! — И он долил остатки наливки в Сашин стакан. — Ну, вы веселитесь, а мене на работу пора. — И как ни в чем не бывало (правда, икнул разок) он встал, поправил замок на штанах, помахал рукой «детям» — и пошел себе на

работу (а работал он сантехником в местном ЖЭКе). Галке не до веселья было: она деловито взвалила себе на горб лыка не вязавшего мужа, стащила с него Валеркин костюм (правда, она об этом не знала), носки, ботинки, уложила спать, а потом отправилась на кухню готовить обед — все, как и полагается...

Бабушка же, наутро увидев внучка, и виду не подала, что всю ночь глаз не смыкала: мол, явился не запылится... А когда из-за спины длинного Саши вышла махонькая Галка, только и перекрестилась... Окрутила, ох окрутила эта «шельма рыжая» ее дитя! Ох и горе горькое... Но потом махнула рукой: живите вы как хотите, коли уж ни совета вам не надобно, ни благословения... И заскулила, прикрывая рот платком...

Александр Иванович убрал с глаз долой одеколон «Саша»... Что это он?.. Белены, что ль, обьелся? Или заболел? Тут и липовый цвет не поможет... Он сел на кровать и долго сидел, подперев рукой голову... Да что это с ним?.. Перед глазами мелькало белое платье Гули... А Галка надела на свадьбу розовое платье... и фаты у нее не было... А костюм он взял напрокат... Мать слова не сдержала... Да и свадьба-то была одно название что свадьба: так, посидели, выпили, закусили... Галка «там понаготовила всего что на Маланину свадьбу, там одной живой воды разве не было» — и бабушка смягчилась: хорошая хозяйка, не страшно и помирать — есть, мол, на кого Сашка оставить. Так они и жили...

Александр Ивановичу вдруг стало нестерпимо жалко Галку. Да что это он в самом деле... Подумаешь, «свиристелка какая-то тонконогая»... да нет, не свиристелка... и не тонконогая... Александр Иванович прилег на подушку, закинув руки за голову... Ножки у нее поленькие... длинные... волоски золотые... и походка, походка... точно по одной линии плывет плавно так, неспешно... и ступни такие узкие, как лодочки... и щиколотки («щиколки», на бабушкин лад), и туфельки... какие же у нее туфельки... такие с пряжечками, беленькие такие туфельки... Он чуть не задохнулся от нежности... А сарафан тоже беленький... и крылышки на плечах... и оборочка

кружевная... и вырез... и грудки круглые... Да что это он... Александр Иванович запретил себе думать о Гуле. Вот еще, делать ему нечего! Женатый человек, отец взрослой дочери... «Лахудра, матери бы помогла...» Галина с возрастом совсем высохла, озлобилась, устала от жизни, что ли... «А от нее дождешься! Мать пашет как Пашечка, а ей хоть бы хны...» А дочери и впрямь было хоть бы хны... «У всех дети как дети, а эта...» — Галина махала рукой. «Ты б хоть слово сказал, что ли? На конференциях своих небось рта не закрываешь...» А Александр Иванович молча сидел за книгой... только уши торчали... Дочка родилась — папаша Пискарев ушел к «женчине одной: хорошая женчина, справная, только полная очень». Уступил молодой семье «квартиру»: «много ли мне надо-то, а им жить»... Так и жили... Верка орала по ночам как «оглашенная»... Александр Иванович писал диссертацию, закрывшись на кухне... А Галка... бедная Галка... Бабушка уже тогда слегла: редко помогала, «от мене теперича толку чуть», говаривала...

А вот интересно, Гуля младше Верки или нет... Александр Иванович сладко потянулся... Гуля... Гуленька... Гуля-Гуля-Гуленька... Гуленька мой сизокрылый... Гули-гули-гулюшки... С гулькин нос... Господи, да что это он... Он вдруг встал перед зеркалом: «полста лет — ума нет»... Волос на голове, «что у козе под хвостом», мешки под глазами, рот кривится в виноватой улыбке... Зато стройный! И Александр Иванович похлопал себя по животу... схватил свежую рубашку, которую выгладила Галина... Нет, он должен ее видеть... просто видеть... она ничего не узнает, она просто подумает, что он... что... Он вихрем вылетел за дверь, столкнувшись с Валентином.

— А! — понимающе пропел тот. — Ночевать придешь? А то я тут с Раей? А? Ты как, Сань, а? — И он залихватски подмигнул Александр Ивановичу. Александр Иванович махнул головой: мол, дело молодое! — Вот это по-нашему, вот это... Слышь, друг, не ожидал, вот клянись, не ожидал... Ты, если что, ты всегда можешь на меня положиться... — И Валентин свистнул Раисе, стоявшей в темноте.

— ...Ну-ну-ну, давай, давай, давай! — кричал розовощекий массовик-затейник. На полу танцплощадки «толстомыся» женщина в ярком красном платье сотрясалась под каким-то бородатым мужичонкой, который буквально ползал по ней с завязанными глазами и руками, пытаясь ртом что-то отыскать на ее пышных телесах. Александр Иванович засмеялся: он вспомнил, что в книжке «В помощь массовику-затейнику», которую он в шутку подарил своему брату Валерке (а тот, между прочим, обиделся: я, мол, тебе вазу подарил на юбилей за пять тыщ, а это, мол, почти треть моей полочки, а ты мне брошюрку дешевую, тоже мне, брат, мол!), так вот в книжке эта игра называлась «Кладоискатель». И тут же он жадно стал шарить глазами по толпе: где же Гуля?.. Ее нигде не было. Не пришла... Он заметался... Побежал в другую сторону... и там нет... — ...А вот мы попросим молодого человека в лиловой рубашке... Молодой человек! Вы, вы! — И массовик-затейник махнул Александру Ивановичу рукой. Тот растерянно оглянулся: я? — Вы, вы! Пройдите на сцену! — Александр Иванович еще раз оглянулся... Да, но так она может его заметить! — Вот и отлично! Поприветствуем нашего нового участника. Представьтесь. — Александр Иванович что-то отвечал... и вдруг ему почудилось, как мелькнуло что-то белое... и исчезло... Его словно ветром сдуло: он побежал за белым видением... Массовик что-то крикнул. Толпа засмеялась...

— Гуля! Гуля! Вы где? — Но ему никто не отвечал... Александр Иванович, обессилев, сел на какую-то корягу и закурил. Из дыма вышла белая фигура... Он боялся двинуться, чтобы не спугнуть ее...

— Это вы? — спросила фигура.

— Я... кто же еще?..

— Вы так смешно отвечали... Я бы ни в жизнь так не ответила... такие дурацкие вопросы... А вы так...

— Господи, это вы... Гуля?.. — Он чуть не подпрыгнул. Это была она, она!!!

Она улыбнулась — и они пошли... Было холодно... Александр Иванович обнял ее за плечи — и по его спине пробежали мурашки, «мураши», как говаривала бабушка, — Гуля сжа-

лась в комочек... Маленькая птичка, да и только... Она глянула на него быстро-быстро и отвела глаза... И он опять чуть не задохнулся от нежности...

— Гуля, я...

— Не надо ничего говорить, — просто сказала она и прижалась к нему. Александр Иванович сглотнул слюну... Его кадык заходил ходуном...

— Гуля, я не знаю, что происходит...

— Я тоже... — опять просто сказала она и обхватила его руку обеими руками.

— А что же делать?..

— Не знаю... — Она посмотрела на него и снова быстро отвела глаза.

— Но...

Она приложила пальчик к своим губам: молчи, ничего не говори... И они шли молча, прижавшись друг к другу, не глядя друг на друга... и только кадык Александра Ивановича ходил ходуном.

— Ты же замерзла совсем! — Она помотала головой, выдохнула... Он почувствовал себя мальчиком...

— Ты только не торопи меня, ладно? — И она доверчиво посмотрела в его глаза. Он прижал ее к себе и поцеловал в макушку. — Только не торопи! — Он помотал головой.

Дошли до ее домика. Она погладила его по груди и положила на то место, которое гладила, свою головку.

— Уже?..

Она помотала головой и быстро побежала к домику, улыбнувшись на прощание.

Александр Иванович закурил. Он не мог двинуться с места. Он смотрел, как зажегся свет, как снова мелькнуло что-то белое... или это ему кажется... Он любил одну женщину... давно любил... Уже и ни матери не было в живых, ни бабушки... Он сглотнул слюну... Нина... Ниночка... Он встретил ее на конференции... Господи, как она не была похожа на всех этих ученых дур с лошадиными лицами, небритыми подмышками, прокуренными голосами... Они отдавались быстро, громко и истерично кричали, закатывали глаза, заунывными голосами читали свои скучные доклады... А Ниночка... юная, полувоздушная... Она выходила на кафедру, цокая своими тонень-

кими каблучками — и мужская половина зала оживлялась: начинала покашливать, поправлять галстуки, волосы... А она выбрала его... долговязого, нескладного, полысевшего... «Почему я? — спрашивал он, не веря своему счастью и утопая в ее пышных волосах пшеничного цвета. — Вон сколько молодых, красивых...» А она тихо положит ему головку на грудь и дышит так тепло... А потом глянет в его глаза — и у него кадык ходуном... «Ты хочешь, чтобы я тебя бросила?» А он целует ее, целует... К тем Галка не ревновала... а Ниночка появилась — она стала нюхать его рубашки: «Земляничкой, что ли, пахнет?» А ее губы и были сладкие, как земляника... Она вышла замуж за одного профессора... «Ты завладел моим сердцем, — тихо говорила она Александру Ивановичу, — сделай что-нибудь...» Он обещал развестись с Галиной... «Жизнь проклятущая...» Он тосковал... «Твоя, что ли, ушла?.. Правильно. Это я, дура, терплю...» «Да замолчи ты!» — Он замахнулся на Галку... Она заплакала... сто лет не плакала...

Он подумал вдруг, что сердце его не выдержит, если у него с Гулей... и сам не знал, что лучше: получится или не получится... Господи, помоги!.. И он стал смешно крестить рот, как его бабушка... Господи...

— Саша! — Александр Иванович вздрогнул, прикрыл рот ладошкой... Из домика выбежала Гуля... молча кинулась ему на грудь... Они обнялись и пошли куда-то...

— А ты не знаешь, здесь можно достать земляники? — зачем-то спросил он и глупо улыбнулся.

— Рановато еще, — сказала Гуля. — В июле можно...

— А-а... — протянул он и не мог больше дышать... и ноги отяжелели...

Почему он так обмяк... трава мокрая от росы... золотые глаза Гули... и дышать нет сил... Он пытается глотать воздух открытым ртом, а внутри будто нет места... Мать умерла — он побежал куда глаза глядят... очнулся в густой траве... мокро... роса... и дышать не мог... Александр Иванович прикоснулся губами к крылышку Гулиного сарафанчика...

— Девочка моя, я женат...

— Я знаю, — тихо сказала она.

— Я не могу... — А она приложила пальчик к его губам...

У нее золотые волоски на ногах... а между пальчиками — вторым и третьим — перепоночка («Я родилась семимесячной, они не успели сформироваться...»)... а на правой грудке родинка такая большая... и на лбу («Говорят, признак интеллекта...»)... и губки... Александр Иванович растворился...

Наутро он сыскал-таки землянику... «Бери, сынок, не пожалеешь. Парничковая, ни у кого не поспела еще...» И старушка из соседней деревни подала ему туесок. «Ягодка к яголке, глянь, и сухая, не мокрущая...»

Он бежал, спотыкался... Мальчишка!.. Гуля проснется — а у ее изголовья...

Он прокрался в домик через открытое окно... Гуля спала, по-детски откинув одеяло... Рядом сопела пожилая женщина с седыми космами... Александр Иванович замер... но быстро опомнился и, поставив туесок с земляничкой у изголовья Гули, выпрыгнул в окно... Он бежал... хотя за ним никто не гнался... На светлой рубашке предательски краснело большое пятно...

Он потерял счет времени... «Девочка моя...» — И он утопал в ее золотых волосах, задыхался от нежности. А она так тепло дышала... «Ну почему? Ну что ты во мне нашла?» А она улыбалась так просто и гладила его по груди с редкими кустиками волос...

— А здравствуй, милая моя... Н-да, повезло так повезло... — И Валентин сверлил своими масляными буравчиками Александра Ивановича и Гулю, которые сидели за соседними столиками. — И уезжать не хоца, да, Сань? А надо... — Он что-то еще говорил, а Александр Иванович задыхался... уезжать... пора уезжать...

— Я завтра уезжаю... — Он побагровел и опустил глаза.

— Я знаю... А может... — И она захлопнула рот ладошкой, смешно выпучив глаза.

— Ты только не приходи... не надо...

— Да... да... конечно...

Она пришла. Молча стояла на автобусной остановке рядом с ним. Она накинула летнее

пальто... и куталась в него, словно продрогла до корней волос, как-то очень медленно, тягостно куталась в пальто... Люди пытливо смотрели на них... Александр Иванович покрылся красными пятнами... вот бы провалиться сквозь землю... и какого черта пялятся... заняться им, что ли, нечем... А Гуля просто стояла рядом... просто дышала... Ему показалось, что кто-то хихикнул... Господи, мука какая... И где автобус этот проклятуший?.. Наконец-то... Подъехавший автобус поднял клубы пыли...

– Вася, ну ты где? Ну вещи-то заноси... Я что, мужик, что ли?..

Александр Иванович стоял словно под прицелом: пассажиры заняли свои места... ждали только его... Гуля неловко развела руками: мол, пора... мол, ничего не поделаешь... Он кивнул и быстро... глаза бы его ее не видели... невыносимо... и быстро вошел в автобус, сев на заднее сиденье...

Она продолжала стоять, медленно кутаясь в пальто...

Автобус тронулся... Вот он приедет и все скажет Галине... Александр Иванович повеселел. Конечно... Гуля шла за автобусом... Потом все быстрее и быстрее... Он стал задыхаться... Она превратилась в маленькую точку... Галина все поймет... Автобус выехал на трас-

су... Пассажиры не спускали глаз с Александра Ивановича... Он задыхался... ерзал на сиденье... спрятаться бы куда-нибудь... Какая-то женщина что-то сказала своей соседке... Та покачала головой... Да еще это предательское пятно на рубашке... Вот рохля... Он закрыл глаза: из-под век сочился горячий пот... А когда откроет – ничего не будет... Автобус мчался по трассе... Женщина продолжала мерно покачивать головой... Автобус трепало из стороны в сторону... Александр Иванович болтался, «как легкая в горшке»... Господи, да он... да он... Бабушка!.. Баб Ань!.. Он огляделся... черт, пятно на рубашке... А сам он сидит... в малиновом костюме... да-да, в ужасном ярком малиновом костюме... вот ведь... пристал к телу что «банный лист к причинному месту»... И Александр Иванович зажмурился...

□

Татьяна ЧУРУС

родилась в Новосибирске.

По образованию – филолог и режиссер.

Финалистка Волошинского конкурса

в номинациях «Проза» и «Киносценарии».

Публиковалась в альманахе Союза российских писателей

«Лед и пламень» (2015).

Стипендиат Министерства культуры 2016 года по литературе.

Живёт в Москве.

В журнале «Север» публикуется впервые.

